

Уразумел Бог бы,
(пусть за подсказку простит),
чтобы не ссорились бомбы,
и всем нам ссориться — стыд.

А если не остудиться
некоторым головам,
то некому будет стыдиться,
и сразу всем — нам и вам.

2 октября 2016

* * *

Мне мало всех щедростей мира,
мне мало и ночи и дня.
Меня ненасытность вскормила,
и жажда вспоила меня.

Мне в жадности не с кем сравниться,
и всюду — опять и опять
хочу я всем девушкам снится,
всех женщин хочу целовать!

1951

ВАГОН

Стоял вагон, выдавший виды,
где шлаком выложен откос.
До буферов травой обвитый,
он по колеса в насыпь врос.
Он домом стал. В нем люди жили.
Он долго был для них чужим.
Потом привыкли. Печь сложили,
чтоб в нем теплее было им.

Потом — обойные разводы.
Потом — герани на окне.
Потом расставили комоды.
Потом прикрепили к стене
открытки с видами прибоев.
Хотели сделать все, чтоб он
в геранях их и в их обоях
не вспоминал, что он — вагон.

Но память к нам неумолима,
и он не мог заснуть, когда
в огнях, свистках и ключьях дыма
летели

мимо

поезда.

Дыханье их его касалось.
Совсем был рядом их маршрут.
Они гудели, и казалось —
они с собой его берут.

Но сколько он ни тратил силы —
колес не мог поднять своих.
Его земля за них схватила,
и лебеда вцепилась в них.

А были дни, когда сквозь чащи,
сквозь ветер, песни и огни
и он летел навстречу счастью,
шатая голосом плетни.

Теперь не ринуться куда-то.
Теперь он с места не сойдет.
И неподвижность — как расплата
за молодой его полет.

1952

Попав в Литинститут, где мы — хотите верьте, хотите нет — проверяли друг друга чтением наизусть Бориса Корнилова, Павла Васильева и других расстрелянных или арестованных поэтов. Моя первая книжка была беспощадно разнесена в пух и прах на семинарах, несмотря на то что ее расхвалили в «Правде», я начал писать совсем по-другому. И вдруг мои стихи стали все чаще возвращать из официальных газет — зато напечатали в литинститутской знаменитой тогда стенгазете. Помню, подошел ко мне уже выпускник Солоухин:

— Слушай, я тебя помню, как ты выступал когда-то в Доме пионеров. А тут подхожу к стенгазете, вижу твои новых три стиха — это уже серьезно, а не просто рифмочки, особенно «Вагон»... Ну, держись теперь.

Пришлось действительно держаться. Но вскорости и при солоухинских неожиданных нападках тоже, на мои стихи «Границы мне мешают, мне неловко/Не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка». Он грубовато посоветовал мне сначала овладеть основами марксизма-ленинизма, а уж потом за границу соваться... Странный был человек. То прекрасную книгу «Владимирские проселки» написал, то на Пастернака замахнулся, а то стал отъявленным монархистом.

* * *

Ты большая в любви.

Ты смелая.

Я — робею на каждом шагу.

Я плохого тебе не сделаю,

а хорошее вряд ли смогу.

Все мне кажется,

будто бы по лесу

без тропинки ведешь меня ты.

Мы в дремучих цветах до пояса.

Не пойму я —
 что за цветы.
Не годятся все прежние навыки.
Я не знаю,
 что делать и как.
Ты устала.
 Ты просишься на руки.
Ты уже у меня на руках.
«Видишь,
 небо какое синее?
Слышишь,
 птицы какие в лесу?
Ну так что же ты?
 Ну?
 Неси меня!»
А куда я тебя понесу?..

11 мая 1954

* * *

При каждом деле есть случайный мальчик.
Таким судьба таланта не дала,
и к ним с крутой неласковостью мачех
относятся любимые дела.

Они переживают это остро,
годами бьются за свои права,
но, как и прежде, выглядят незрело
предательски румяные слова.

У них за все усердная тревога.
Они живут, сомнений не тая,
и, пасынки, они молчать не могут,
когда молчат о чем-то сыновья.

Им чужды те, кто лишь покою рады,
кто от себя же убежать не прочь.
Они всей кожей чувствуют, что́ надо,
но не умеют этому помочь.

Когда порою, без толку стараясь,
все дело неумелостью губя,
идет на бой за правду бесталанность,
талантливость, мне стыдно за тебя.

1954

* * *

Л. Мартынову

Окно выходит в белые деревья.
Профессор долго смотрит на деревья.
Он очень долго смотрит на деревья
и очень долго мел крошит в руке.
Ведь это просто —

правила деленья!

А он забыл их —

правила деленья!

Забыл —

подумать —

правила деленья.

Ошибка!

Да!

Ошибка на доске!

Мы все сидим сегодня по-другому,
и слушаем и смотрим по-другому,
да и нельзя сейчас не по-другому,
и нам подсказка в этом не нужна.

Ушла жена профессора из дому.
Не знаем мы,
 куда ушла из дому,
не знаем,
 отчего ушла из дому,
а знаем только, что ушла она.

В костюме и немодном и не новом,
да, как всегда, немодном и не новом, —
спускается профессор в гардероб.
Он долго по карманам ищет номер:
«Ну что такое?

 Где же этот номер?
А может быть,
 не брал у вас я номер?
Куда он делся? —
 трет рукою лоб. —

Ах, вот он!..
 Что ж,
 как видно, я старею.

Не спорьте, тетя Маша,
 я старею.

И что уж тут поделаешь —
 старею...»

Мы слышим —
 дверь внизу скрипит за ним.

Окно выходит в белые деревья,
в большие и красивые деревья,
но мы сейчас глядим не на деревья,
мы молча на профессора глядим.
Уходит он,
 сутулый,
 неумелый,

какой-то беззащитно-неумелый,
я бы сказал —
 устало неумелый,
под снегом,
 мягко падающим в тишь.
Уже и сам он,
 как деревья,
 белый,
да,
 как деревья,
 совершенно белый,
еще немного —
 и настолько белый,
что среди них
 его не разглядишь.

12 февраля 1955

Это стихотворение понравилось американскому поэту Карлу Сэндбергу.

САПОГИ

К. Ваншенкину

Был наш вагон похож на табор.
В нем были возгласы крепки.
Набивши сеном левый тамбур,
как боги, спали моряки.
Марусей кто-то бредил тихо.
Котенок рыжий щи хлебал.
Учили сумрачного типа,
чтоб никогда не мухлевал.
Я был тогда не чужд рисовки
и стал известен тем кругам

благодаря своим высоким
американским сапогам.
То тот,
 то этот брал под локоть,
прося продать,
 но я опять
лишь разрешал по ним похлопать,
по их подошвам постучать.
Но подо мной,
 куда-то в Еткуль,
с густой копной на голове,
парнишка,
 мой ровесник,
 ехал,
босой, в огромных галифе.
И что с того,
 что я обутый,
а он босой, —
 ну что с того! —
но я старался почему-то
глядеть поменьше на него...
Не помню я,
 в каком уж месте
стоял наш поезд пять минут.
Был весь вагон разбужен вестью:
«Братишки!
 Что-то выдают!»
Спросонок тупо все ругая,
хотел надеть я сапоги,
но кто-то крикнул, пробегая:
«Ты опоздаешь!
 Так беги!»
Я побежал,
 но в страшном гаме

ЗАВИСТЬ

Завидую я.

Этого секрета
не раскрывал я раньше никому.
Я знаю, что живет мальчишка где-то,
и очень я завидую ему.
Завидую тому,
как он дерется, —
я не был так бесхитроsten и смел.
Завидую тому,
как он смеется, —
я так смеяться в детстве не умел.
Он вечно ходит в ссадинах и шишках, —
я был всегда причесанней, целей.
Все те места, что пропускал я в книжках,
он не пропустит.

Он и тут сильней.
Он будет честен жесткой прямою,
злу не прощая за его добро,
и там, где я перо бросал:
«Не стоит!» —
он скажет:

«Стоит!» — и возьмет перо.
Он если не развяжет,
так разрубит,
где я не развяжу,
не разрублю.
Он, если уж полюбит,
не разлюбит,
а я и полюблю,
да разлюблю.
Я скрою зависть.
Буду улыбаться.

Я притворюсь, как будто я простак:
«Кому-то же ведь надо ошибаться,
кому-то же ведь надо жить не так».
Но сколько б ни внушал себе я это,
твердя:

«Судьба у каждого своя», —
мне не забыть, что есть мальчишка где-то,
что он добьется большего,
чем я.

1955

СВАДЬБЫ

А. Межирову

О, свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,
слова неоткровенные
о том, что не убьют...
Дорогой зимней, снежною,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село.
Походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу,
 плясун прославленный,
в гудящую избу.
Наряженный,
 взволнованный,
среди друзей,
 родных,